

**В**оскресным вечером городок затишал. Дневные труды по огородам завершались, и теплая усталость собирала семьи к ужину. Один только автовокзал шевелился, поскрипывал фанерными скамейками. Дачники из окрестных сел и из самих Клепиков стекались сюда и ожидали автобусы. Уставшие от грядок и горячего августовского солнца, люди лениво поглядывали на часы. Мужчины от скуки курили, женщины одергивали непоседливых детей и оглядывали многочисленные сумки. Жара немного отлегла, и розовое тепло отражалось в окнах, лежало на подзаборной крапиве.

Подъехавший автобус резко остановился, встревожив купающихся в пыли кур и крутившуюся около урны длинноухую собачонку на коротких ножках. Люди встрепенулись.

— На Москву, что ли?

— На Москву! Смотри-кось, полон! Стоя придется ехать.

Народ послушно и понуро перетаптывался у двери, ожидая водителя из диспетчерской. Каждый старался протиснуться поближе ко входу, а те, кто уже давно ехал и вышел поразмяться, с барским прищуром оглядывали потенциальных попутчиков.

Пожилой мужчина, сухонький, невысокий и юркий, подошел к плотному высокому парню.

— Поговорите с водителем, — начал он. — Может быть, высадит этого. Ну нельзя же такое терпеть! Два часа едем — спасу нет!

— Вот сам и поговори, — парировал молодой.

— Правильно! — вступила в разговор дама в белой кофточке. — В Туме его предупреждали, что в полицию сдадим, — не угомонился, мазурик!

— Вот, — напомнил подошедшему водителю пожилой мужчина, — люди возмущаются: надо бы высадить хулигана.

— Сами думайте.

Но так ни на что и не решившись, пассажиры стали рассаживаться по местам.

Автобус мягко, словно под гору, покатил к Москве. Девушка, сидящая у прохода, загляделась на заревые облака, легко подвигавшиеся над лесом. Она смотрела так очарованно, словно видела эту красоту впервые. «А ведь действительно, — подумалось ей, — именно впервые. Краски меняются каждую минуту! Жаль, что дни летят, а живем, словно ничего не происходит с нами, терпеливо привыкаем к повседневности. Так и жизнь можно прожить: монотонно, тихо, ничего не заметив».

Ее размышления прервал нахальный голос стриженного ежиком мужчины, сидящего сзади. На вид ему было лет тридцать пять. В расстегнутой до пояса белой рубашке с короткими рукавами, в белых же брюках, плотный и невысокий, он был похож на всклокоченного белого петуха. Круглые пьяные глазки его светились мутно и безотчетливо. Он шаркал ногами, словно не мог усесться, крутил головой, пытаясь поймать чей-нибудь взгляд, зацепиться за него и тогда уж развернуть беседу.

— Мы что? А? — с дурной хрипотцой прозвучал его голос. — Уже поехали? Эй, водила! — заорал он на весь автобус. — Гони!

Довольный сам собой, хулиган развалился в кресле и достал из нагрудного кармана рубашки помятую сигарету, попытался несколько раз чиркнуть спичкой и наконец зажег ее. Потянуло дымком.

— Что же это такое? — возмущился сидящий на два ряда впереди пожилой мужчина. — Духота, у человека валидол под языком. Неужели никто не найдет, чтобы высадить негодяя?!

Народ загудел.

— Высадим!

— Достал уже всех!

— Успокойся, — ровным тоном попросила пожилая женщина, сидящая сзади. Она наклонилась между двух кресел и говорила размеренно, спокойно. — Погаси сигарету и успокойся. Надо ехать и никому не мешать. Высадят — что хорошего? Сиди себе тихо, и скоро приедем.

Как ни странно, слова подействовали на бузотера. Он потушил окурок, затоптав его на полу.

Минут пятнадцать было тихо, но потом хулиган вновь завозился, заерзал, достал свой пакет и долго ковырялся в нем.

— Слышь, — он толкнул локтем соседа, — будем пить и закусывать. Держи огурец. Держи! — Достал початую бутылку водки, прямо из горла осушил ее на треть и протянул бутылку соседу.

— Не буду, — отказался тот.

— А я говорю, пей! — скомандовал бузила и, опрокинув бутылку, стал, приматюгивая, обливаться парня водкой.

— Все! Предел! — не выдержал один из пассажиров. — Водитель, останови! Высадим!

Автобус остановился. Что-то все-таки сообразив сквозь пьяную одурь, хулиган притих и уставился в окно.

— Он больше не будет, — вступилась за него пожилая дама. — Ты будешь спать. Да? — обратилась она уже к нему.

Тот кивнул. Тронулись дальше. Смеркалось. Лес по обе стороны дороги слился в одну темно-зеленую стену, и небо над ним светилось уже неуверенно, жидко.

Некоторое время бузотер в обнимку с бутылкой сидел тихо. Потом отхлебнул, помотал головой и оживился.

— А кто это едет? — Он наклонился к девушке, сидящей впереди него. — А-а-а. А я знаю. Я тебя видел. Тебя как зовут? — И попытался сзади обхватить ее.

— Отстань! — девушка брезгливо отпихнула его руки.

— Не дергайся, дура глупая. Я, может, тебя полюбил. Я если кого полюблю, от меня фиг скроешься. Поняла?

— Опять, что ли, начинаешь? — с нотой угрозы в голосе произнес парень, стоящий рядом с дамой в белой кофточке.

Бузотер привстал, потянувшись и схватил даму за ногу чуть выше колена.

— Ах ты мразь! — оттолкнул его парень.

— Сам мразь! — не унимался хам. — Я твою козу... — и попытался ударить парня, но промахнулся.

— Тормози! — крикнул кто-то из пассажиров.

Как по команде, мужики подняли буяна и почти что вынесли из автобуса. У дверей подтолкнули к выходу, он споткнулся, ударился носом о дверь и вывалился в кювет. Поднялся. Из носа текла кровь. Он опустился на четвереньки, качнувшись, повалился в траву.

Первые минуты ехали молча. Дама в белой кофточке уселась на освободившееся место. Пассажиры перекусывали, дремали, равнодушно смотрели в залепленные темнотой окна. И все-таки на лицах, в глазах, даже в молчании чувствовалось напряжение. После всего случившегося настроение у пассажиров было такое, словно не хам и пьяница измывался над нами, а они учинили над ним несправедный суд. На душе у каждого было неприятно и хотелось лишь одного — скорей, скорей доехать, покинуть этот автобус, этих людей, раствориться в толпе, вернуться к своей обыденности, только бы не стоял над душой совестливый вопрос во всем ли они правы?

В кювете бузотер продрал глаза. Почувствовал, как тяжело давит в голове, ощущал припухший нос. Высокие деревья скрыли луну, и отсвет ее лишь зыбко обозначил небо над дорогой. В такой ситуации можно почувствовать себя только букашкой в огромной траншее: справа — стена, слева — стена. Он оглянулся — жутко. Жутко потому, что вспомнил, как садился в автобус, чтобы ехать в Москву, но почему и как оказался на дороге среди леса — из памяти вышибло. Немного пройдя в одну сторону, остановился, помялся на месте и неуверенно поплелся в обратном направлении. Вновь остановился. Куда идти?.. «Наверное, — подумалось, — на остановке вышел покурить и уснул». Непродолжительные мысли крутились в голове, повторялись, как на заезженной пластинке, и от всего этого становилось безысходно. Редкие машины мчались по шоссе, но никто, конечно же, в столь поздний час не решался подвезти одинокого путника. Примерно через час еле-еле плетущийся трактор притормозил у обочины. Наш «герой», не раздумывая, забрался в кабину.

Здесь хоть и было грязно, хоть и воняло соляркой и силосом, а все-таки чувствовалось тепло.

— Далеко? — добродушно спросил тракторист.

— Надо бы... В Москву...

Тракторист захохотал:

— А чего не в Париж? Я как раз туда за девками еду. — И уже серьезно добавил: — Москва в другой стороне.

— Д-да?.. Ну... все равно уж... Куда-нибудь до жилья.

— Видать, погулял ты, братец, — улыбнулся тракторист.

— Ага. Вырубился... Так, елки, получилось, блин... Главное, в автобусе ехал. Вышел перекурить... и заснул. У тебя курить есть?

— Нет. Все выкурил, — хлопнул по карману тракторист. — Ездил вот, да сломался, зараза. Через день его чиню. То одно, то еще что-нибудь. Хоть бы кое-как до дому доехать.

— А где мы?..

— От Москвы — сто тридцать.

Тракторист свернул с шоссе на проселочную дорогу.

— Переночуешь у меня. Тут километра три. А завтра направишься.

— А удобно? Дома-то не заругаются?

— Жена к матери уехала с сыном. Вернутся завтра к вечеру. Так что отдыхай.

— Ага, — благодарно кивнул бузотер. — Меня Лехой зовут.

— А я — Михаил.

Ухабы качали, вертели полуночный трактор, и наконец дорога вывела к небольшой деревеньке в лесу.

— Приехали! — заглушил мотор Михаил. — Здесь и живу.

Не торопясь, оба вылезли из кабины.

Вышел пес, поводит по воздуху кирзовым носом и нырнул под крыльцо. В свете фонаря Леха успел разглядеть узорные наличники на окнах, свежескрашенные ступени на крыльце и черную, как голенище сапога, шею хозяина дома.

Умывшись, он сел за стол, на который хозяин выставил из холодильника картошку в мундире, огурцы, грибы и половину селедки. Михаил навалился на стол и стал уплетать.

— А ты чего не ешь?

— Нутро... пищу не принимает. А вот чайку попою. Пить охота.

— Тебе сейчас опохмелиться бы... — Михаил встал из-за стола, сходил в соседнюю комнатку и вернулся с бутылкой самогона.

— И мне с устатку не повредит.

Леха неуверенно заулыбался. Выпили по рюмке, по второй. Леха стал понемногу закусовывать, и внутри у него потеплело. А когда закурили, и вовсе сделалось спокойно, мягко на душе.

Он уперся носом в кулак, и неожиданная, резкая боль пронзила его, а выпитая самогонка словно пробила мозги — и все вспомнилось... В одну секунду он словно увидел, как пришел домой пьяный, как ругался с женой, потом рванул на автовокзал и поехал в Москву к сослуживцу Сереге, с которым не виделся уже три года, вспомнил, как пытался ударить какого-то парня, как мужики накинудись и вытолкнули его из автобуса.

— А-а! Так вот в чем дело! — прокричал он.

Обида и негодование хлынули в его душу. Он поднялся, не видя изумленный взгляд Михаила.

— Они выбросили меня из автобуса! Ты понял? Они выбросили меня!

Суки!.. Я их достану! — И Леха рванул на улицу. Он побежал по дороге в невозможной надежде отомстить обидчикам. Бежал и бежал, но не в ту сторону, откуда приехал, а в противоположную, все дальше и дальше от шоссе. Потом дорога сузилась, перешла в тропинку. Под ногами зачавкало, земля стала вязкой. Он остановился — впереди было болото. Отдышавшись, он пошел назад, но и сзади тоже оказалось болото. И куда бы ни пошел — везде ноги сперва по колени, а потом и глубже тонули в вязкой болотине. Шагнул: «Блин!» А кроме этого дикого в ночном лесу возгласа «Блин!» — ничто и не прозвучало. Хрюкающее что-то вырвалось из недр, и рухнул он аж по пояс в смердящую жижу.

Жуть отрезвила мгновенно. Вспомнил, комбат говорил: «Вздохнуть за четыре секунды, выдохнуть за одну. Продышаться!» Так, что дальше? Восковой поток лунного света мертвил покосившиеся хиленькие деревья на болоте и коряжину под рукой. Зацепился покрепче, потянулся — хрустнула. Но не сломалась. «Тихо надо, медленно, — подумал Леха. — Молитву бы какую вспомнить. Отче наш... Отче наш...» Но ничто не складывалось в голове. Сам он никогда не молился, а только после контузии, когда ходил в церковь, повторял слова молитв за другими и крестился. Он глянул на круглую луну, гребешки сосен поодаль. Что может спасти его в этом чахлам и диком месте? А ничто. Проглотит Леху болотная жижа — навсегда!

Из глотки Лехи вырвался безысходный хрип. Ужас сковал все тело, все чувства, а мслей не осталось. «Боже, и это все?» — мелькнуло в голове. В мгновение вспомнились детские годы, как на рыбалку ходил с ребятами, вспомнились почему-то похороны дедова брата, толстого и доброго. Что только не промелькнуло. Вот он лейтенант, закрывший собой на учениях выпавшую у новобранца гранату без чеки, молния, тьма, контузия, врачи, возвращение домой. Он так и не оправился до конца, несмотря на молодость и заверения докторов.

— Господи, неужели я для того тогда выжил, чтобы сдохнуть сейчас в этой грязи?! Господи, спаси! — выдохнул Леха.

Да, жарко с тобой рядом дышать, память!

Болото засасывало, тянуло ко дну. Как ни цеплялся Леха за коряжину, а все больше погружался. Вспомнил сестру, Светку. Дебил! Все бы отдал ей сейчас! Когда дом родителей делили, а она только что перед этим замуж вышла, отдать бы ей весь дом! Пусть бы молодые жили в радости. Ан нет, заграбастал он себе половину, хотя сам давно в бабкиной избе обжился. Жадность, что ли, давила? Вот ведь никак человек не довольствуется необходимым! Давай еще, еще! Забываем, что в гробу-то карманов нет.

Леха завыл. Вот утопнет и некому будет его добрым словом вспомнить. Жена только, Тоня, может быть? А за что его любить, скотину такого? Только Тоня и терпит его — бредового, злого, трехнутого. Любит, что ли? «Чумичка безмозглый! Как живу? Господи, что же я за тварь такая?! Прости меня, жизнь моя милая!»

И тут Леха, увязнув уже по грудь, вдруг ощутил под ногами что-то твердое. Оперся. Отломил крючковатую коряжину и зацепил ей молоденькую березку, ловко наклонил, схватился и стал медленно тянуть на себя. Звезды насторожено смотрели за ним, сантиметр за сантиметром вытягивающим из болота свою жизнь.

Наконец Леха добрался до мхов, прислонился к сосенке и здесь, около нее, решил дождаться зари, чтобы уж потом, по свету, найти дорогу.

Болото и рассветная свежесть сделали свое дело — в голове окончательно посвежело и, успокоившись, теперь он внимательно осмотрелся вокруг. Леха видел, как рождаются над болотом туманы, как они по-кошачьи осторожно кочуют друг другу навстречу, потом устремляются вверх, оседают и вновь уплывают неизвестно куда, словно заползают под трухлявые пни и укутываются в мох.

А когда поднималась заря и живые струи лучей сочились сквозь облака, он вдруг заплакал. Слезы сами катились, и он все никак не мог с ними справиться. Это над ним, дурным, хамливым человеком, смеялась природа. Так нелеп он был здесь, среди вольной и красивой чащобы, в своей когда-то белой, а теперь заляпанной, прилипшей к телу рубашке, в грязных, мокрых брюках — озябший, заплутавший в этом лесу и в себе самом.

Заря поднималась вольно, выбирая самые неправдоподобные цвета, — надрезала облака, лепила из них то корабли, то невероятные небесные айсберги и — ломала ночь.

И вспомнились Лехе давние зори, когда все друзья его юности были с ним, когда были живы и мать с отцом, и бабка с дедом... Подумал о Тоне. Как он ухлестывал за ней! Ведь и цветы дарил! И теперь вдруг ясно почувствовал, что уже не сможет больше жить так непутево, бестолково, как эти последние годы. Те давние зори словно летели навстречу, жгли студеной росой, и он сипловато прохрипел себе под нос: «Я вернулся!»

И вдруг вспомнил людей в автобусе, но без зла. Даже почувствовал благодушность к ним за то, что высадили. Ведь не случилось этого, разве стоял бы он сейчас тут, в этом светлом счастливом зареве, вместе со всем своим прошлым и будущим...

## НЕГАСИМОЕ

...И вот я вновь у небольшого дома из красного кирпича, где немало прожито и пережито. Теперь здесь непривычно пусто. Ни бабушки моей — Натальи Егоровны, ни деда — Михал Ивановича, ни соседа — Кольки Ворона. Сдвинули брови одряхлевшие избы, сады оглохли, вкривь потянулась пьяная изгородь, и только рябина у дома улыбалась и звала под свое зеленое крыло.

Я оглядывал все это родное и знакомое, почти не изменившееся и лишь слегка припудренное старостью. Казалось, сама душа моя искала здесь что-то и никак не могла найти. Потому и цеплялся взгляд за каждый сучок бревенчатого сарая, за немую собачью будку, за обнажившиеся ребра курятника. И странное чувство овладевало мной, словно не я, а эти подслеповатые окна, это крыльцо с прищуром ступенек, этот продувной сарай с остатками слежавшегося сена — все они разглядывали и пытались вспомнить меня. Нет, родной дом не стал чужим, он просто постарел за годы нашей разлуки, немного ссутулился и притих без добрых хлопот и уверенной руки хозяина. Все вещи живы настолько, насколько часто к ним прикасается человек. А нет человека — и все порастает тягучей дремой, коростой забвения. Ветра стирают прежний лик, а воды уносят память. И лишь в глубине любого предмета, пока его не рассыпало время, теплятся токи минувшего. Подойдет человек, прикоснется рукой, душою, любовью своей, и, словно спящие царевны, оживают ступени, дремные двери, тепло и осмысленно смотрят в мир окна, отступает угрюмый страж запустения — крапива — и прилетают птахи, в счастливых хлопотах рассыпая веселый щебет и приветствуя жизнь.

В первый же день сходил на кладбище к бабушке и деду — привел в порядок родные могилки. А затем несколько дней поправлял крыльцо, выкашивал около дома сорную траву, подвязывал изгородь. И когда уже понял, что самое необходимое сделано, решил пойти на рыбалку. Утро было зябкое, и, вспомнив, что в сенах, в сундуке, всегда хранились теплые вещи, я решил покопаться в нем и найти себе что-либо подходящее.

Сверху лежало старое лоскутное одеяло, под ним — какая-то грубая сумка с невероятно огромными пряжками, калоши, платья, старый китель. Я поднял его за тяжелые плечи, встряхнул и надел. Китель пришелся впору. В карманах нащупал горсть дедовской махорки и аккуратно сложенную для самокруток пожелтевшую от времени газету. Сразу стало тепло, необыкновенно уютно в этом кителе, и протекла по душе волна чувств, невольно озарив минувшим.

Я увидел, как отец с мамой приехали за мной в деревню, чтобы забрать после летнего приволья в город. В доме, конечно, радость встречи, раздача подарков. Бабушке достался полшалок, мне — красивая книжка, а деду папа подарил коробку табака. Растопили печь, бабушка пышек напекла, мама городскую еду на стол нарезала, отец с дедом беседовали у окна, а я разглядывал на диване только что привезенную мне книжку.

Радость нашу заметил сосед, Колька Ворон, живший напротив, стал прохаживаться у своей калитки и поглядывать на наши окна.

— Ишь ты, — кивнул дед отцу, — гляди-кось, то неделями его не видать, то тут как тут. Вот нюх-то на рюмку.

— Ворон, что ли? — спросила бабушка.

— А то кто? Колька!

Странное дело: в селе все друг друга звали по имени-отчеству, а Ворона, несмотря на преклонный возраст, даже ребятишки всегда окликали Колькой.

— Ворон — прозвище, что ли? — спросил отец.

— А хрен его знает... — махнул жилистой рукой дед. — Всегда так звали. Вишь, ходит в сером пинжаке, в брюках таких же, в кепке черной. И нос вон — как у ворона. Птица та еще... Он родом не наш, откуда-то из Сибири. Жена его, Маня, — эта наша. А он издаля залетел. Лет за пять до войны, должно. Ага. Или шесть. Перед самой войной в Москву уехал, и там, говорят, ножом кого-то убил. Насмерть, нет ли — не знаю. Но в тюрьму попал и всю войну там... В сорок восьмом возвратился и с тех пор пьет и пьет — всегда капля на носу.

— Будет тебе болтать-то! — рассердилась бабушка.

— А я что? Говорят... — дед пожал плечами.

— Ты, зятек, его не слушай. На вот лучше пышечку горячую, угостись... А Вороном зовут — у них фамилия такая — Вороновы.

— Фамилия само собой, — подтвердил дед. — Однако вон тоже фамилия — Бычковы, а Ваську Бычком не кличут, потому как худосочный и, стал быть, не соответствует. А наш Ворон, он и есть что птица ворон. Ишь, зыркает! Учужал добычу.

— Может, пригласить его? — спросила у бабушки мама.

— На кой он тут? Напивается скоро. На медовый спас зашел, выпили с дедом по лампадке. Гляжу, наш-то как ни в чем, а этот зашатался весь, пошел на крыльцо курить да и уснул там. Едва растолкали.

— Полбеда, — многозначительно заметил дед. — Годами не умыва-

ется. Как вернулся — ни разу его никто в бане не видел. Вечно из ушей солома торчит. Какая жара была — в речку не окунулся. Маня его говорит, последний год вовсе с ума сходит: спит в одежде.

— Что же случилось? — удивилась мама. — Помню, раньше опрятным был.

— Раньше, — отреагировал дед. — Раньше на елках груши росли, а теперь только шишки. Когда было-то?..

— Видимо, у него гидрофобия, — вступил в разговор отец. — Это болезнь такая, когда человек воды боится.

— Как говоришь? — сощурился дед.

— Гидрофобия. То же самое, что и бешенство.

— Бывает, — кивнул дед, — бывает ужас какой бешеный. Маньку свою избивает до синяков зеленых. Эта, как ты говоришь, самая настоящая гидра он и есть.

— Опять ты! — ткнула его в плечо бабушка и, повернувшись к отцу, добавила: — Страху в нем много. Может, и воды боится.

Колька Ворон тем временем начал колоть дрова.

— Мать, — позвал бабушку дед, — посмотри там у себя за печкой: земля с оси не скovyрнулась? Ворон дровами занялся. Где б записать.

— Ты его не зовешь, он и обращает на себя внимание.

— Жарко что-то стало, — заметил отец.

— А ты сними китель, — посоветовала мама.

— Да-а, — протянул дед, ласково оглядев китель. — Сукно хорошее. Настоящее.

— Примерь!

— Что я, барышня, что ли? У двери повесь.

— Примерь, Михал Иванович. Впору будет — подарю.

Дед засиял, засмутился, словно испугался даже, руками замахал.

— Да ты что? Куда мне его носить? У нас тут парады не устраивают.

— Да примерь, говорю. Он теплый. Победный!

— А сам-то как же?

— Да есть у меня и свитер с собой, и легкая куртка.

Дед как бы нехотя влез в рукава, а бабушка, успевшая накинуть праздничный фартук, озорно улыбнулась:

— Как молодой сделался дед-то!

— Не боишься? Девки, теперь за мной — рысью.

— Вот и забирай, носи на здоровье, — улыбнулся отец.

Дед поежился, у зеркала постоял — так, сяк, боком, — даже глаза задымились слезой. Сели за стол.

Колька Ворон тем часом метался за окном. И под стожок рукой лазил, и граблями под ним ширял, и вилами елозил, словно искал чего.

— Все крутится Колька, — в голосе деда проснулось участие. — Нешто поднести ему лафитничек? — И запел:

Ты не ве-ейся, черный во-орон,  
Над мое-ю голово-о-ой...

— Цыц! — остановила его бабушка. — Услышит, разобидится на-смерть.

— А что я ему? Из песни слова не выкинешь.

— Вот и замолчи! На тебе колбаски городской. Закуси.

— Что ж, облизнуться, конечно, такой колбаской приятно. Но я больше люблю нашенское, натуральное. Вот щи из молодого петушка вчера



мать варила. Это — да. — И вновь повернулся к отцу. — Значит, победный китель? Это хорошо. Сукно, сукно какое! У-у-у!

— Куда?! — неожиданно пронзительно заорал за окном Колька Ворон. — Сознавайся! Куда?!

Из окна было видно, как он с кулаками бросился на свою жену. Дед сразу вышел из дому и уже с крыльца уговаривал Николая успокоиться.

— Я под стожок ее положил, — объяснял Ворон, — думал, схороню от этой, а видать-таки, углядела. Как теперь опохмелиться мне? Нечем! Не понимает, дура!

— Ладно, ладно, — успокаивал дед подошедшего соседа, — опохмелим тебя, угомонись. Пойдем в дом.

— Да куда я в грязном-то?

— Ну, подожди тогда.

Он сходил в дом и вынес лафитник. Колька выпил, крикнул и сразу подобрел:

— Зять, гляжу, с дочкой приехали.

— Да, — заулыбался дед. — С подарками. Вишь, китель подарил. Зять-то с самим Жуковым воевал-то. Во!

— Китель? — заморгал Колька. — Чтобы носился, обмыть надо.

— Так и быть, поднесу еще.

Дед еще раз сходил домой, а Колька опять крикнул и наслаждался. Курили, обсуждали текущие дела, и вдруг дед с наскака в упор спросил:

— Говорят, Коль, ты в Москве человека зарезал. Трепятся, что ли?

Ворон съезжился.

— Зарезал? — выдохнул Колька.

Он уже опьянел, сощурился и — грым себя кулаком в грудь:

— Злюсь! На себя злюсь!.. Всего тебе не скажу — совестно... Однако, Миш, не зарезал, но через меня... человек повесился. — И, словно испугавшись своих слов, замахал руками. — Что?.. А? Поверил? Шучу я, шучу.

— Понятное дело, шутишь, — кивнул дед. — Садись. Еще выпить хочешь?

Колька горько улыбнулся. Беззащитно обнажился щербатый рот. Руки успокоились, не тряслись.

— А чего ты, говорят, будто баню не любишь? — допытывался дед.

— А сколько ни мойся, все одно вины с души не отмыть. И, знаешь, — глаза Кольки забегали, засуетились, в них появилось что-то рабское, паническое, — мне цыганка одна гадала, что смерть ко мне от воды придет.

— Боишься, что ли?

— А кто не боится? Дурак только.

— Ты и есть дурак, если цыганке поверил.

— Глупый ты, Михаил, человек. Вот не знаешь, а все, что она мне сказала, — сбылось.

— Тогда и последнее сбудется. Берегись, не берегись — сбудется. Кто на что записался — тому и быть.

...А потом мы уехали, и зимой умер дед. А еще через год не стало и Кольки Ворона. Рассказывали, что пошел он к реке — лошадь там у него паслась, а тем часом двое соседских мальчишек играли на крутом берегу. Один возьми да оступись. Колька увидал — плюх за ним! — вытолкнул мальчика из воды, а у самого сердце, видно, зашлось, и разыскали его мужики только на следующий день.

...Дом вздрогнул, как от взрыва: это реактивный преодолел звуковой барьер. Я очнулся от воспоминаний и, собрав удочки, пошел на реку. Облака текли низко и быстро, но мороси не было.

Я почему-то пошел не сразу к месту рыбалки, а кругом: хотела душа насладиться и полем, и лугом, и колючими, серыми, словно шинели, стогами, выстроившимися до самого леса. Давным-давно здесь была битва при Воже, где русские впервые одержали победу над ордынцами. Вот Шатров холм, где стоял шатер Бегича, вот лощина Рудинка, что значит рудой, кровавый. Сколько воинов тогда здесь полегло! Так я и шел, и мое настроение перетекало от березы к пряслам, от них — к рябине, от нее — к размазанной заоколичной дороге. А вот и крайняя изба. Какая же это прелесть — русская избушка! Хоть и ветхая, хоть и горбенькая, а все в радость. Солнцем жженая, дождем тертая, ветром скобленная — звон один до сини. И кажется, что стоит она недвижимо, в одиночестве — ан нет: все вокруг вычищено, обихожено — глазу даль кажет. И скрипит себе, скрипит потихоньку, пережевывает ступеньками дни да ночи, луны считает, от солнца щурится — вольно ей и радостно на родной земле. Хоть и подточены горестями ее сучки-зазубринки, хоть и погрызли мыши углы, а есть в избе свет: и внутри от икон намоленных, и снаружи — от доброго людского труда и неба ясного. Кинет она туда — в синь поднебесную — дымок пуповиной из трубы и слушает небо. Долго, долго, долго. И все понимает, все знает, все скажет тому, кто слышать может.

На берегу я устроился под ветлой, на знакомом пеньке — обветшавшем, состарившемся, — и, закинув удочки, долго вглядывался в набегающую чешую волн. И сделалось мне привольно и уютно. И все вокруг ласкало взгляд. Так сидел бы и сидел — и вспоминал себя.

Поплавки мерно колыхались на волнистой ряби. Вода текла и текла. Она двигалась тяжело и весомо. Подобно крови, которая насыщает жилы жизнью, родительница-вода плескала к ногам память веков. И огромное облако, широко распластав крылья, подобно сказочному Ворону несло живую и мертвую воду.

Пошел дождь. Земные и небесные воды омывали меня. За чередой частых капель размывались дома и сады, размывались леса и стога, проявлялись незнакомые силуэты, вырастали новые дали. В этом кружении, в этом желанном потоке словно невзначай прорезалось тугими лучами молодое солнце, и влажно затеплилась радуга.

